

УДК 101.1+172

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ГЛОБАЛЬНОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ: СЕМИОТИЧЕСКИЕ И РИТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

С. В. ВОРОБЬЕВА¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрыты семиотические и риторические аспекты исторической памяти с учетом вызовов глобального цифрового мира. Для этого выявлены онтологические основания и эпистемологические механизмы исторической памяти как ее стратегические ресурсы. Обосновано, что онтологические основания исторической памяти представляют собой соотношение фактичности, условности (индексации) и символичности коллективной и индивидуальной памяти, а также что эпистемологические механизмы исторической памяти формируются на пересечении способов восприятия мира (диахронии и синхронии) и риторических схем презентации (метафор) и репрезентации (метонимий). Концептуальная модель обоснования опирается на реконструкцию идей Ч. Пирса, Ч. У. Морриса, М. Хальбвакса, Дж. Э. Бараша, П. Нора, Й. Рюзена, Э. Левинаса, С. Галабрю, Э. Мешалона. Указаны причины уязвимости памяти сетевого индивида в экстерриториальных условиях глобального цифрового мира, затрудняющие гражданственно-патриотическую самоидентификацию: экзистенциальные разрывы во времени, космополитизм и следы истории. Намечены пути преодоления гетеротопии памяти.

Ключевые слова: историческая память; онтология исторической памяти; эпистемология исторической памяти; сетевой индивид; уязвимость памяти; гетеротопия памяти; космополитизм; следы истории.

Образец цитирования:

Воробьева СВ. Историческая память в глобальном цифровом мире: семиотические и риторические аспекты. *Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология.* 2023;1:34–44.
<https://doi.org/10.33581/2520-2251-2023-1-34-44>

For citation:

Vorobyova SV. Historical memory in the global digital world: semiotic and rhetorical aspects. *Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology.* 2023; 1:34–44. Russian.
<https://doi.org/10.33581/2520-2251-2023-1-34-44>

Автор:

Светлана Викторовна Воробьева – кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры философии культуры факультета философии и социальных наук.

Author:

Svetlana V. Vorobyova, PhD (philosophy), docent; associate professor at the department of philosophy of culture, faculty of philosophy and social sciences.
cherbourg@mail.ru

HISTORICAL MEMORY IN THE GLOBAL DIGITAL WORLD:
SEMIOTIC AND RHETORICAL ASPECTSS. V. VOROBYOVA^a^aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article reveals the semiotic and rhetorical aspects of historical memory, taking into account the challenges of the global digital world. For this, the ontological foundations and epistemological mechanisms of historical memory have identified as its strategic resources. It has substantiated that, firstly, the ontological foundations of historical memory are the ratio of factuality, conventionality (indexation) and symbolism of collective and individual memory. Secondly, that the epistemological mechanisms of historical memory are formed at the intersection of ways of perceiving the world (diachrony and synchrony), and rhetorical schemes of presentation (metaphors) and representation (metonymy). The conceptual model of justification is based on the reconstruction of the ideas of C. Peirce, C. W. Morris, M. Halbwachs, J. A. Barash, P. Nora, J. Rusen, E. Levinas, S. Galabru, E. Mechoulan. The reasons for the vulnerability of the memory of a network individual in the extraterritorial conditions of the global digital world, which impede civic-patriotic self-identification, are indicated: existential gaps in time, cosmopolitanism, traces of history. Ways to overcome memory heterotopia had outlined.

Keywords: historical memory; ontology of historical memory; epistemology of historical memory; networked individual; memory vulnerability; memory heterotopia; cosmopolitanism; traces of history.

Введение

Актуальность исторической памяти в глобальном цифровом мире подтверждается, по меньшей мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, очевидными стали вызовы исторической памяти как диахроническому свойству государственности. Это обусловлено экстерриториальными, трансграничными и наднациональными факторами релятивности пространственно-временного континуума, фрагментирующей идентичность. В данных условиях необходима активизация поиска надлежащих способов и форм «производства памяти о прошлом, ее сохранения, трансляции, присвоения и потребления» [1]. Во-вторых, наблюдается рост непредсказуемости будущего, становящегося все более иллюзорным, что усиливает манипуляции с аргументами «от времени». В них субъективно комбинируются обобщения и детализации, ассоциации и диссоциации, порождающие временные или безвременные линии. Эскизно границы иллюзий и манипуляций можно очертить в контексте смены типов утопий. Социалистические утопии светлого будущего заменены в глобальном мире на либеральные утопии прекрасного настоящего, из чего Ф. Фукуяма сделал вывод о конце истории, который приближается именно в связи с исчезновением ощущения наступления будущего. В качестве атрибутов конца истории он называл экономический расцвет, технические и экологические проблемы, а также удовлетворение запросов потребителей «здесь и теперь» [2, с. 137], в соответствии с которыми продвигается идеология трансгуманизма, развиваемая, например, Ю. Н. Харари (советником К. Шваба). Из указанных ракурсов выводимо нетривиальное следствие: разрыв времен отводит исторической памяти особую роль, которая нуждается в теоретико-методологической оценке.

Это позволяет перейти к постановке проблемы и формулировке цели и задач.

Разработанные подходы к пониманию исторической памяти [3–11] остаются открытыми, предоставляя возможность концептуализации и развития отдельных элементов ее содержания, которые не имеют таких строгих определений, как система в целом. В данном контексте актуализация исторической памяти обусловлена необходимостью решения методологических проблем, связанных с семиотическими и риторическими аспектами [12; 13], вытекающими из ее знаковой и технологической сущности. Практически они подтверждаются различными тенденциями в политике исторической памяти [14]. Это, например, дискредитация монолитной государственной памяти в пользу множественной космополитической памяти, которая в качестве своего источника допускает национализм, скрывая истинный смысл его использования [10; 11] и ревизии исторической памяти [15]. Проблемные вопросы семиотики исторической памяти в ценностном аспекте связаны с семантическими и прагматическими структурами социально-культурного контекста, предопределяющими идеологию преодоления разрывов между языком воспоминаний и использующим его сообществом [16]. Подобные структуры составляют предмет социальной семиотики, которая, сопоставляя исторический и текущий ментальный опыт, стремится осмыслить ценности и ресурсы общественного сознания, раскрыть связь индивидуальной и общественной памяти [17] и найти ответы на вызовы мультимодальности, обусловленные расширением знаковых средств конструирования смыслов и формирования идентичности [18, с. 78]. Проблемные вопросы риторики опосредованы

символизацией событий, определяющих их важность в качестве предтечи чего-то иного. На таком запланированном результате выстраивалась, например, колониальная политика Запада в XIX – начале XX в. Подтверждением этого в настоящее время являются полемические ответы риторики мусульманских стран, вес и значение которых определяются силой противовеса секуляризму и падению нравов, вызванных влиянием Запада [19, с. 6].

Методология понимания исторической памяти в глобальном цифровом мире обусловлена взаимозависимостью ее знаковой и технологической сущности, обнаруживаемой, например, в информационных смысловых войнах. Риторика демонстрирует изменение обстоятельств в зависимости от семиотики, поэтому применительно к исторической памяти она предполагает управление процессами, связанными с бытием внутри поколений. Технологии такого управления осложняются тем, что существование человека оказывается глубоко погруженным в семиотику цифровой среды [20]. Се-

миотические особенности цифрового существования человека проявляются в ускоренных режимах «отхода от нарративов непосредственно к перформативам» [21, с. 37] и бегства от территории смысла к практикам номадизма [22]. В такой гетеротопии, с одной стороны, легко порождается множество образов, речевых конструкций и смыслов, которые, скорее, разъединяют людей, нежели объединяют, так как означают для различных групп и слоев социума разные вещи, с другой стороны, обмен информацией ограничивается небольшим набором слов и редуцируется преимущественно к обмену визуальными образами. В соответствии с проблемным полем поставлена цель: раскрыть семиотические и риторические аспекты исторической памяти с учетом вызовов глобального цифрового мира. Основные исследовательские задачи заключаются в выявлении онтологических оснований и эпистемологических механизмов исторической памяти и обосновании семиотических и риторических аспектов исторической памяти как ее стратегических ресурсов.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включают теоретические разработки зарубежных ученых в области исторической памяти [3–11] и семиотики [23–25], а также работы российских исследователей [12–17; 20; 21; 26–28].

В качестве методов исследования использованы системный и компаративный анализ. Систем-

ный анализ позволил прояснить функциональные особенности семиотических и риторических аспектов исторической памяти в глобальном цифровом мире. Компаративный анализ обеспечил выявление общего и особенного в трактовках исторической памяти.

Результаты и их обсуждение

Семиотический подход к исследованию исторической памяти как системы устойчивых представлений о прошлом обусловлен ее знаковой сущностью, которую методологически важно раскрывать в контексте типологии знаков Ч. Пирса, а также с учетом структуры семиотики, разработанной Ч. У. Моррисом. На основе признака, выражающего степень связности чувственно воспринимаемой и умозрительной сторон знаков, Ч. Пирс разделил их на знаки-иконы, знаки-индексы и знаки-символы [23, с. 77]. Таким способом он дополнил логическую структуру референции герменевтической структурой коннотации, в процессе которой устанавливается субъективное отношение между означающим и означаемым знака [29, с. 291]. Означающая сторона знака отсылает к предмету чувственно воспринимаемого мира, замещаемому данным знаком. Означаемая сторона связана с формированием эйдетического образа, или представления, на основе означающей стороны. Знаки-иконы, связанные с обозначаемыми объектами как прототипами, выступают их подобиями и составляют онтологические основы аналогового мышления и чувственно-эмоциональной сферы человека, поэтому их именуют также знаками-копиями, или образами. Знаки-символы, напро-

тив, не имеют никакого отношения к обозначаемым ими объектам, так как означающее и означаемое в них не имеют аналоговой (фактической) связи. Они составляют онтологические основания дискретно-абстрактного мышления, посредством которого символическое содержание, не доступное чувственному восприятию, становится доступным разуму.

Применительно к исторической памяти из различения знаков-иконы и знаков-символов вытекает нетривиальный вывод относительно оппозиционности фактической и символической сторон ее содержания. Это значит, что исторические события следует рассматривать «между фактом и символом» [26], т. е. в сфере знаков-индексов. Их особенности, по Ч. Пирсу, обусловлены тем, что обозначаемые ими объекты образуют органически согласованные пары, но «интерпретирующий ум» не имеет с ними «ничего общего», лишь отмечая эти соединения после того, как они установлены [23, с. 93]. Поскольку знак-индекс «физически связан со своим объектом», он содержит в себе информацию о каком-либо факте [23, с. 93], что позволяет, например, установить причину по ее следствиям или восстановить целое на основе его частей. Знаки-индексы, в отличие от знаков-иконы, не замещают объекты, а сосуществуют

с ними в пространстве (синхрония), времени (диахрония) или языке (ассоциации), поэтому связь означаемого и означающего в них опосредована условиями сосуществования, составляющими основы референций и коннотаций.

Индексирующая сущность памяти проявляется посредством взаимодействующих механизмов исторической и личностной ретенций и воспоминаний. Механизмы исторических ретенций заключаются в удержании и накоплении общественно-коллективного опыта, а механизмы личностных ретенций – в удержании и накоплении индивидуального опыта, но в контексте исторических ретенций. Механизмы воспоминаний представляют собой способы актуализации и активации образов прошлого, локализирующие событие в контексте взаимосвязей синхронии и диахронии, а также индивидуальных и исторических ассоциаций. Исследуя точки пересечения индивидуальной и коллективной памяти, Е. О. Труфанова акцентировала внимание на текущих действиях, осуществляемых «на основе уже усвоенных и “запомненных” социальных механизмов – устоявшихся образцов поведения, традиций» [27, с. 20–21]. Процессы усвоения и запоминания происходят с помощью механизмов эмпатии как способности «переживать “не свою” память, а память Другого» [27, с. 21]. Это возможно благодаря способности ставить себя на место этого *Другого*, переживая исторические события, связанные с ним. Триггерами эмпатии выступают исторические документы, художественные произведения и др. [27, с. 21].

Каким образом возможно переживание памяти *Другого* раскрыл П. Нора, трактуя историческую память в ракурсе семиотической методологии. Он подчеркивал принадлежность мест памяти «двум царствам», которые определяют их, с одной стороны, как естественный объект интереса, открывающийся непосредственно чувственно-наглядному опыту, с другой стороны, как сложный искусственный объект, подлежащий абстрактному анализу. Таким способом П. Нора указывал на логическую противоположность, образующую семиотическую целостность, – фактическую и символическую стороны исторической памяти. Эту целостность он определял посредством «сосуществующих трех смыслов самого места», или пространства, памяти: «материального, символического и функционального, но проявляющегося в очень разной степени» [5, с. 39]. Такую семиотическую тройственность смысла П. Нора иллюстрировал понятием «поколение», наглядно поясняя типологические различия его трактовок как знака. Оно «...материально по демографическому содержанию, функционально в соответствии с нашей гипотезой, поскольку... осуществляет одновременно кристаллизацию воспоминания и его передачу. Но оно и символично по определению, поскольку, благодаря событию или опыту, пережитому неболь-

шим числом лиц, оно характеризует большинство, которое в нем не участвовало» [5, с. 39].

Семиотический поворот, начатый Ч. Пирсом, был углублен Ч. У. Моррисом, который обосновал необходимость различения в знаковых процессах трех уровней: синтаксиса, семантики и прагматики [25, с. 50]. Они определяют особенности семиотических структур организации человеческой субъективности и углубляют понимание трансцендентальной и феноменологической идей о структурированности опыта способностями (И. Кант) и мотивами (Э. Гуссерль). Данные семиотические структуры – синтаксические, семантические и прагматические – выражают отношение знаков к знакам, знаков к объектам и знаков к интерпретатору соответственно [25, с. 51, 58]. Применительно к человеческой субъективности это означает, что «бессознательное организовано как синтаксис, подсознание – как семантика, сознание – как прагматика» [28, с. 558–559]. Сознание, организованное как прагматика, выступает объектом когнитивной семиотики, в которой ведущий принцип утверждает следующее: аргументация имеет место в сознании, а не в тексте [30, р. 158]. Толкование аргументации в ее связи с сознанием предполагает учет семиотических свойств коннотации – фактичности, условности и символизма, которые обуславливают интерпретационные значения, придаваемые знаку как «иконе умопостигаемых отношений» [24, с. 224]. Если, по Ч. У. Моррису, функциональное содержание знаков в фактическом (иконическом) ракурсе обусловлено ценностями и мотивами, то такое содержание в условном (индексирующем) ракурсе – направленностью внимания [25, с. 72, 93]. Знак-индекс «означает лишь то, на что направляет внимание», поэтому он характеризует не свой денотат, а исключительно его пространственно-временные координаты [25, с. 64]. Поскольку индексирующие знаки лежат в основе человеческих связей, из которых вырастает ценностная иерархия жизненных взаимодействий как способов восприятия, постольку они «направляют внимание интерпретатора на части окружения» посредством очерчивания «границ общего ожидания» [25, с. 72]. Например, как утверждал Ч. У. Моррис, ссылаясь на сочинение Аристотеля «Об истолковании», слова, как условные знаки мыслей, «общие для всех людей» [25, с. 70], поэтому для прагматики исторической памяти важно то, «как ценятся, воспитываются и развиваются те или иные формы восприятия» в обществе [19, с. 81].

Риторический подход к исследованию исторической памяти неотделим от семиотических свойств коннотации, так как, во-первых, непосредственно связан со способами восприятия, имеющими фактические, условные и символические границы, во-вторых, предполагает установление данных границ в контексте диахронии и синхронии. В диахрони-

ческом контексте восприятие имеет дело со временем, устанавливая отличие объекта от самого себя, в синхроническом контексте – с пространством, в котором устанавливается отличие объекта от других объектов [9, р. 87–88]. Если диахрония опирается на «зримость» метафор как знаков-икон, то синхрония – на метонимические рекомбинации временных, пространственных и смысловых связей. Данную особенность обосновал Ф. Ницше, подчеркнув, что пафос истины составляет «подвижная армия метафор, метонимий и антропоморфизмов», т. е. «сумма человеческих отношений» [31, с. 440]. Это означает, что истина рождается в диапазоне *буквальное – фигуральное*, поэтому ее критерии зависят от разницы между узусом и инновацией как, соответственно, между общеупотребительным и редким (уникальным), привычным и новым. Например, героизм, патриотизм, победа – это метафоры, символическое содержание которых зависит от непосредственной или опосредованной данности в опыте соответствующей исторической реальности и которые определяют государственно-национальный концепт свободы и независимости. Способы данности в опыте предопределены размерностью пространства. Если исходить из идеи Г. Лейбница о том, что пространство – это отношения между вещами, то их значимость обусловлена длительностью или силой влияния в истории государства, делая одно ничтожным, забываемым, другое – значительным, запоминаемым, наделяемым особой ценностью. Как подчеркивал Ч. У. Моррис, «ведь символы в конечном счете, подразумевают иконические знаки, а иконические знаки – знаки-индексы» [25, с. 65]. Разрывы в такой семиотической связи, фиксируемые как фрагментарность сознания, неясность образов, нечеткость мышления, являются причинами выпадения из истории, поэтому наблюдаемое в глобальном цифровом мире доминирование визуально-образного опыта стало концептуально оформляться как «иконический поворот» [32, с. 189], или как визуальная риторика.

Метафоры и метонимии связаны с построением кортежей знаков. В их пределах появляются дополнительные значения и смыслы, которых нет у этих знаков в отдельности. Таким способом реализуются функции исторической памяти по восстановлению целостности по немногим признакам и фрагментам. В качестве примера данных кортежей можно рассматривать социальные рамки памяти, раскрытые М. Хальбваксом [4]. Они включают четыре компонента, которые участвуют в построении и закреплении воспоминаний: язык как коллективную форму мыслей, используемую для обозначения предметов, людей и мест; время, включающее даты, исторические события, обычное течение дней и месяцев; пространство, измеряемое расстоянием и длительностью перемещений; понятийный опыт. Опираясь на эту структуру, М. Хальбвакс обосновал идею о не-

возможности индивидуальной памяти без коллективной памяти, аргументируя ее доводом своего учителя А. Бергсона, в котором утверждается, что все «наши идеи приходят к нам от других» [4, с. 209]. Историческая память не просто воспроизводит события прошлого, а прагматически подправляет их, адаптируя к тем приемам мышления и репрезентациям, которые приемлемы для современного состояния социума [4, с. 209]. Правки и адаптация прошлого обусловлены, в одном ракурсе, реконструктивными возможностями установленных обществом воспоминаний [3, с. 8], которые составляют метафорические механизмы памяти, в другом ракурсе, сознанием, пребывающим в социальных рамках памяти, что не позволяет избежать метонимических реконструкций самих воспоминаний [4, с. 56].

Идею коллективной памяти М. Хальбвакса, погибшего в Бухенвальде, французский профессор Дж. Э. Бараш сравнивал с аналогичной идеей Р. Козеллека, воевавшего солдатом вермахта на Восточном фронте. Дж. Э. Бараш утверждал, что «прошлое и настоящее оказываются связанными в поле опыта современных поколений» благодаря непрерывности коллективной памяти и ее символическим артикуляциям, имеющим два уровня значений [33, с. 30]. На первом уровне символы не доступны непосредственному чувственному опыту, а на втором становятся очевидными из-за пространственно-временных форм и логического порядка. Таким способом «благодаря этим символическим конфигурациям в общественной жизни формируется структура спонтанных знаний интеллигентного характера» [33, с. 30]. В результате «коллективная память укореняется в сети символических конфигураций, проникая в многочисленные слои, воздействуя на пространственно-временное восприятие и концептуальную логику, развитию которых она придает мощный импульс» [33, с. 31].

Историческая память предопределена взаимным дополнением коллективной и индивидуальной памяти, которые, как комплементы, отражают двойственность агрегатной и элементной трактовки общества. Это можно подтвердить доводом, вытекающим из номиналистического процесса формирования гражданской и политической субъективности, невозможного без реалистической коллективистской самоидентификации. Роль и значение исторической памяти в качестве ведущей формы коллективной памяти раскрывается в контексте пространства и времени как рассудочных априорных форм чувственного познания, поэтому в глобальном цифровом мире критическим становится вопрос о том, каким образом человек привносит в свою жизнь представления о последовательности событий (время) и порядке (пространство). Различия в понимании времени и пространства влекут различия в механизмах самоидентификации, т. е. в способах

мышления, моделях мира и образах жизни. Феноменальный уровень самоидентификации, ограниченный самостью, соответствует деперсонализации индивида, находящегося вне надындивидуальной целостности. Поэтому для понимания особенностей исторической памяти в условиях «глобальной цифровой деревни» значимы два концепта: «места памяти» П. Нора [5, с. 39] и «утрата исторической последовательности» Й. Рюзена [6, с. 9].

Согласно мемориальной логике П. Нора места памяти формируются «игрой памяти и историей» [5, с. 39], которые определяются друг через друга в их постоянном взаимодействии. Факторами взаимодействия выступают желание помнить, а также «объекты, достойные воспоминания» [5, с. 39]. Исходя из них П. Нора устанавливал критерии различения памятного и исторического: если отсутствует желание помнить, то место является местом истории, а не памяти [5, с. 39]. «Право мест памяти на существование» обусловлено стремлением материализовать нематериальное, «чтобы заключить максимум смысла в минимум знаков», потому что они представляют собой непредсказуемое переплетение их значений [5, с. 40]. Такая непредсказуемость обусловлена тем, что память «открыта диалектике запоминания и амнезии», ибо она «не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна манипуляциям и способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления» [5, с. 19].

Й. Рюзен принимает в качестве исходного условия установленное П. Нора отличие места истории от места памяти – отсутствие желания помнить, но делает акцент на двух обстоятельствах. Первое касается различий в решении проблемы последовательности истории в модернизме и постмодернизме, второе – обоснования памяти в качестве объединяющего принципа в самой последовательности истории. Кроме того, Й. Рюзен раскрывал историческую память в контексте утраты последовательности времени, подготовленной постмодернизмом. Этот контекст породил «сомнение относительно познавательных принципов исторического мышления», сформированных в эпоху модерна [6, с. 9]. Историческое мышление модерна он определял как умственную деятельность «по интерпретации прошлого ради понимания настоящего и ожидания будущего» [6, с. 26]. Для этого настоящее, во-первых, «синтезирует события прошлого со смысловыми критериями, эффективными в сегодняшней практической жизни», во-вторых, «руководит действиями в перспективе будущего» [6, с. 26]. Данные особенности исторического мышления модерна подверглись постмодернистской критике, в контексте которой появилась тема исторической памяти.

Согласно первой особенности исторического мышления модерна в трактовке Й. Рюзена устанавливаемая связь настоящего и прошлого была

направлена на создание впечатления о том, что «прошлое движется к современной ситуации», соединяясь «с современной ситуацией в одну линию исторического развития» [6, с. 19, 21]. Этой же идеи придерживаются П. Нора и М. Хальбвакс. Первый утверждал, что память – «переживаемая связь с вечным настоящим» [5, с. 19], второй раскрывал историческую память как форму коллективной памяти [3]. Постмодернисты выступили против такого осмысления, призывая «вернуть прошлому его собственное достоинство» и не объединять прошлые формы человеческой жизни с нашими формами [6, с. 19]. Подобное противостояние тенденций модернизма и постмодернизма воплотилось в оппозиции антикваризма и презентизма [12, с. 48–54], которые направлены на построение объясняющей и понимающей истории соответственно. Согласно второй особенности связь с будущим определялась посредством онтологического и эпистемологического содержания категорий «развитие» и «прогресс». В условиях нарушенной временной последовательности историческое мышление теряет идею будущего, что, по Й. Рюзену, связано с европоцентристской идеологией, которая разрушает «все другие формы культурной идентификации», так как направляется «не рациональной аргументацией... а стремлением европейских народов к власти над остальным миром» [6, с. 18]. Это означает, что оно вследствие своего деструктивного характера не открывает никаких других «перспектив в будущее», кроме катастрофы [6, с. 18].

Появление исторической памяти в качестве самостоятельной темы в постмодернизме стало следствием осмысления подобных деструкций и необходимости разработки новых методологических подходов к истории. Такие исследования были обусловлены поиском иных источников смысла и необходимостью сохранения последовательности истории посредством памяти. В постмодернизме историческая память стала рассматриваться как средство «для воссоздания прошлого и превращения его... в одну из движущих духовных сил сегодняшней жизни» [6, с. 22]. Согласно трактовке Й. Рюзена сила такого движения обусловлена синергизмом трех сфер культурной практики, предопределяемых концептом «смысл истории»: когнитивной, эстетической и политической. Каждая из них имеет свое измерение: содержательное, формальное и функциональное [34, с. 24], – фиксируемое, соответственно, вопросами о том, что передает смысл, заимствованный в прошлом, как и для чего это делается. Ответы на «вопрос вопросов»: «Как возникает смысл?» [35, с. 6, 9] – нужно искать в контексте культуры как системе осмысления и знаковой регуляции [35, с. 17–26]. Развитие таких систем сопряжено с риторикой как исторически первой формой прагматики [25, с. 70].

В концепции Й. Рюзена прослеживается методологическая оценка соотношения истории и традиции в контексте противостояния аргументации модерна и постмодерна, опирающихся на разные риторики. Модернистская риторика основана на просвещенческой идеологии и идее развития и прогресса. Постмодернистская риторика, напротив, исходит из множественности соперничающих идеологий, по-разному интерпретирующих указанную идею, но проявляющих единодушный скептицизм к трактовкам действительности на реалистической основе разума, универсализма и объективности, ведущий к возрастанию номиналистической неопределенности и релятивности. Постмодернистская риторика политизировала культуру и сферу образования посредством превращения индивида в сумму частных (расовых, гендерных и др.), сместив акценты с его универсальных оснований как условий стабильности обществ на «текущую» идентификацию, редуцируя историческую память к любительской истории и личным сюжетам. Й. Рюзен уточнял, что историческая память имеет место только тогда, когда она «выходит за пределы жизненного пространства личности или группы» и опирается на «рационально выработанные формы» – репрезентации, в которых интерпретации прошлого включены «в концепты значимости», представляемые как повествования (нарративы) [6, с. 13]. Репрезентации сюжетов прошлого сопровождаются метафорически выраженными моральными оценками (например, «вина», «покаяние», «травма», «геноцид»).

Вызовы исторической памяти проистекают из двух внутренне противоречивых тенденций в развитии современного мира: глобализации, подразумевающей интеграцию без барьеров и универсализацию человечества, но демонстрирующую лишь рост конфликтов в мире, и цифровизации, расширяющей возможности человека, но вытесняющей классические аспекты в образовании, экономике, науке и других сферах. Это означает, что по-прежнему «мир не везде одинаков, несмотря на глобализацию» [19, с. 93], а постмодернистская экстерриториальность виртуальных сетей ограничивает идентичность человека цифровыми механизмами самоидентификации, исключающими привязки к пространственно-временному контексту в практиках номадизма [22, с. 121]. Оперативность и импульсивность сетевых синхронизаций индивида в глобальной цифровой среде, а также его излишняя публичность ведут к гетеротопии памяти, обусловленной нечеткостью синтаксических, семантических и прагматических границ значений и смыслов, что затрудняет приобщение к коллективной исторической памяти. В результате исторические воспоминания начинают характеризовать в большей степени современность, чем те времена, к которым относятся их содержание. Причины заключаются в ото-

рванности от семиотических механизмов коллективных воспоминаний (М. Хальбвакс, Дж. Э. Бараш) и неспособности к преодолению экзистенциальных разрывов (П. Нора, Й. Рюзен). Э. Левинас пояснил эти причины в контексте отсутствия синхронизации с диахронией, остающейся сокрытой и неразгаданной [8, с. 330]. Вследствие сокрытой и неразгаданной диахронии значение определяется включенностью в ситуации, которые связаны только с настоящим [9, р. 89], как это происходит, например, в диалоговой синхронизации без привлечения диахронических разрывов во времени, но что делает память еще более уязвимой, а субъекта – фрагментированным.

В условиях глобальной цифровой медиатизации фрагментация субъекта, как подчеркивает С. Галабрю, обостряется «уязвимостью памяти»¹, которая проявляется в двух направлениях: как «разрывы во времени, переживаемые самостью» и как риски для индивидуальной и коллективной идентичности [10, р. 125]. Первое направление она связывает с трактовкой памяти Э. Левинасом как возвращением из состояния потери и забывания посредством удерживания «взгляда Другого», который выступает источником значения, а его наличие открывает путь к себе и своей идентичности [10, р. 126]; второе – с трактовкой памяти П. Рикёром как механизмом идентичности, непрочность которого влечет «непрочность идентичности для “я” или для “мы”» [10, р. 128]. Таким способом С. Галабрю косвенно указывает на опасность беспамятства для будущего. Поэтому важно понимать, что если аргументация Й. Рюзена сосредоточена в большей степени вокруг объяснения изменений в установлении связи настоящего с прошлым, то аргументация П. Нора – на поиске приемлемых условий преодоления экзистенциальных разрывов во времени и обостряемого в глобальном цифровом мире чувства прерывности. В связи с этим П. Нора раскрывал историческую память через проект коммеморации, ассоциируя ее с великими датами собственной истории. Согласно его подходу существуют две причины интереса к местам памяти. Первая связана с тем, что исторической памяти больше нет, значит, нарушен «доступ к осознанию себя под знаком того, что завершилось навсегда» [5, с. 17]; вторая – с осознанием «разрыва с прошлым», которое сливается с ощущением разорванной памяти, но в этом разрыве еще достаточно памяти, чтобы ее воплотить, значит, можно восстановить чувство непрерывности, которое и «находит свое убежище в местах памяти» [5, с. 17].

Роль исторической памяти в глобальном цифровом мире определяется противодействием негативным тенденциям, концептуально обозначенным П. Нора посредством понятийной связи космополитизм – следы истории – неуловимость идентичности, раскрываемой в контексте семиотики (как ее интерпретации) и риторики (как ее презентации

¹Здесь и далее перевод наш. – С. В.

и репрезентации). Относительно космополитизма П. Нора подчеркивал, что в прошлом мы знали, чьи мы сыновья, а сегодня мы – дети мира, которые ничего не знают о том, «из чего будет сконструировано прошлое», а неуверенное беспокойство превратит все в след, «в возможный признак, в намек истории» [5, с. 36]. В условиях доминирования «следов прошлого» идентичность становится неуловимой, так как перестает быть происхождением, связью и становится дешифровкой того, «что мы есть, в свете того, чем мы не являемся больше» [5, с. 37].

Космополиты, по Ч. Тейлору, исключают два атрибута социального бытия: коллективную идентичность и чувство солидарности с соотечественниками, без которых невозможны совместные действия [36]. В частности, М. Нуссбаум, поддерживая надгосударственное гражданство, прибегает к тактике дискредитации патриотизма и определяет космополитизм посредством предикатов «рассудочный» и «сознательный», а патриотизм – посредством предикатов «эмоциональный» и «аффективный» [37]. В своем оправдании она ссылается на довод Диогена, который рассматривал космополитизм как «своего рода изгнание... из комфорта локальных истин, из теплого гнезда патриотизма, из всепоглощающей драмы гордости собой и “своими”» (цит. по [37, с. 118]). Путая патриотизм с национализмом, М. Нуссбаум противопоставляет реальности патриотизма утопизм космополитизма, предлагающий «лишь разум и любовь к человечеству, которая иногда может казаться менее яркой, чем другие источники принадлежности» [37, с. 118].

Историческая память выступает сдерживающим фактором негативных тенденций «следов истории»,

предохраняя идентичность от уязвимости неопределенным будущим, так как именно прошлое включает настоящее в будущее. Негативные последствия увлеченности следами истории для культуры памяти и для идентичности раскрывает Э. Мешулан, обосновывая идею о том, что происходящая от П. Нора нынешняя «одержимость следами проникает повсюду и во что угодно» [11, р. 15]. Следы «принимают величественный след руин, которые затем должны быть инсценированы и сделаны доступными для блаженной (и платной) публики» [11, р. 121]. Феномен мгновенного общественного успеха заключается в том, что он легко порождает, например, заботу об уличных перилах в Квебеке, которые становятся «материальным наследием городского планирования Нового времени» [11, р. 121]. Это означает следующее: «тоска памяти и увлечение следами того, что исчезло или исчезает», опасны тем, что они могут сделать наш мир «вечным музеем повседневной жизни» [11, р. 14]. Таким способом Э. Мешулан стремится решить две задачи: объяснить возрастающий интерес к памяти в культуре постмодернистских и постиндустриальных обществ, условия которых не обеспечивают трансляцию ценностных идей, принципов и форм совместного бытия; понять, каким способом память обретает социальную силу, заменяющую традиционные культурные механизмы. Солидарную мысль высказала С. Галабрю, отождествляя историческую память с социальной силой, направленной на преодоление страха, который всегда связан с будущим. В подтверждение она привела аргумент Э. Левинаса о том, что «время возникает из отношения к другим», а не из конечности человеческого существования [10, р. 125].

Заключение

Глобальный цифровой мир видоизменил пространство и время как формы восприятия мира, в котором непредсказуемость и рискованность будущего могут быть сняты только аргументами исторической памяти. Становясь неотъемлемой частью настоящего, историческая память открывает новую проблематику, проясняемую в контексте ее семиотических и риторических аспектов как факторов интерпретации, презентации и репрезентации событий прошлого.

Семиотические аспекты исторической памяти обусловлены структурно-функциональными особенностями знаков как ее онтологической основы. Эти особенности определяют фактическое, индексирующее и символическое содержание, различаемое в зависимости от способа связи означающего и означаемого, устанавливаемого в исторической памяти. Семиотические связи, как условие интерпретации, подразумевают отсылку символического содержания к фактическому содержанию, сопряженному с аналоговым мышлением, а фактически-

го – к индексирующему содержанию, определяющему направленность внимания этого мышления. Разрывы в семиотических связях составляют причины «выпадения» из истории и коллективных воспоминаний, экзистенциальные разрывы в идентичности.

Риторические аспекты связаны с эпистемологическими механизмами воспоминаний, которые формируются на пересечении форм восприятия мира (диахронии и синхронии) и способов презентации и репрезентации. Основы презентаций составляют знаки-иконы, или метафорические образы, в которых означающее и означаемое связаны и составляют подсознательный эмоционально-чувственный опыт в качестве ресурсов аналогового мышления, а значит, и источника мотивов, мотиваций и происходящих из них ценностей и убеждений. Основы репрезентаций составляют знаки-символы, в которых отсутствует отношение к обозначаемому объекту, вследствие чего эти знаки нуждаются в риторических перформативных (действенных) технологиях,

направленных на формирование пространства (синхронии) как образа исторических событий в коллективной памяти посредством организации воспоминаний и осмысления пережитого опыта (место памяти как локус внимания).

Раскрытые аспекты исторической памяти составляют стратегии ее интерпретаций и репрезентаций. В контексте вызовов глобального цифрового мира их разработка подразумевает учет противостояния исторической памяти, во-первых, космополитической ге-

теротопии сети как экстерриториального пространства (гетеротопии памяти), во-вторых, фрагментации сетевого индивида, способствующего «ускользанию» от гражданско-патриотической самоидентификации. Риски стратегий интерпретации обусловлены постмодернистской увлеченностью следами истории, ведущими к рассогласованию единства коллективного прошлого, настоящего и будущего, а риски стратегий репрезентации – уязвимостью памяти сетевого индивида, переживающего разрывы во времени.

Библиографические ссылки

1. Зверева ГИ. Память о прошлом в цифровой среде: когнитивные ориентиры для исторического исследования. *Электронный научно-образовательный журнал «История»* [Интернет]. 2021 [процитировано 20 июля 2022 г.];12:8. Доступно по: <https://history.jes.su/s207987840016865-0-1>.
2. Фукуяма Ф. Конец истории? Замошкин ЮА, переводчик. *Вопросы философии*. 1990;3:134–155.
3. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. *Неприкосновенный запас*. 2005;2–3:8–27.
4. Хальбвакс М. *Социальные рамки памяти*. Зенкин СН, переводчик. Москва: Новое издательство; 2007. 348 с.
5. Нора П. Проблематика мест памяти. В: Нора П, Озуф М, де Пюимеж Ж, Винок М; Хапаева Д, переводчик. *Франция-память*. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета; 1999. с. 17–50.
6. Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории. Антощенко АВ, переводчик. *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории*. 2001;7:8–27.
7. Ассман А. *Новое недовольство мемориальной культурой*. Хлебников Б, переводчик. Москва: Новое литературное обозрение; 2016. 232 с.
8. Левинас Э. Ракурсы. В: Левинас Э. *Избранное: Тотальность и бесконечное*. Маньковская ИБ, Вдовина ИС, Дубин БВ, Ямпольская ЛВ, переводчики. Москва: Университетская книга; 2000. с. 292–349.
9. Lévinas E. Diachronie et représentation: à la recherche du sens. *Revue de l'Université d'Ottawa*. 1985;55:85–98.
10. Galabru S. Paul Ricœur et Emmanuel Lévinas: vulnérabilité mémoire et narration: Peut-on raconter la vulnérabilité? *Études Ricœuriennes / Ricœur Studies*. 2019;10(1):125–139.
11. Méchoulan É. *La culture de la mémoire*. Montréal: Presses de l'Université de Montréal; 2008. 261 p.
12. Демин ИВ. Семиотический подход к истории: между презентизмом и антикваризмом. *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки*. 2015;4:48–54.
13. Тульчинский ГЛ. Лиминальность: «глубокая» семиотика и самоопределение. *Семиозис и культура*. 2010;6:16–28.
14. Аникин ДА, Бубнов АЮ. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет как медиатор памяти. *Вопросы политологии*. 2020;10(1):19–28.
15. Васильев ИВ, Кузнецов АН. Историческая память как фактор патриотического воспитания граждан. *Власть*. 2021;29(3):142–148.
16. Радченко ОА. Школа «слов и вещей»: закат одной научной парадигмы. *Вестник Московского государственного лингвистического университета*. 2013;5:150–158.
17. Сиверц ван Рейзема ЯВ. *Информатика социального отражения. Информационные и социальные основания общественного разума*. Москва: Литрес; 2022. 919 с.
18. Кресс Г. Социальная семиотика и вызовы мультимодальности. *Политическая наука*. 2016;3:77–100.
19. Эрнст К. *Суфизм*. Горькавы А, переводчик. Москва: ФАИР-ПРЕСС; 2002. 320 с.
20. Тульчинский ГЛ. Историческое сознание и экранная культура. *Наука телевидения*. 2017;13(1):110–127.
21. Тульчинский ГЛ. Экран и фактор скорости: от нарративов к перформативам. *Наука телевидения*. 2019;15(2):29–40.
22. Воробьева СВ. Цифровая идентичность в сетевом обществе: практики номадизма и пограничные состояния. В: Слемнев МА, Давлятова ЕВ, Рудковский ЭИ, редакторы. *Феномен границы в глобализирующемся мире*. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова; 2020. с. 121–124.
23. Пирс Ч. Икона, индекс, символ. В: Пирс Ч. *Начала прагматизма. Том 2*. Кирющенко ВВ, Колопотин МВ, переводчики. Санкт-Петербург: Алетейя; 2000. с. 76–97.
24. Пирс Ч. Пролегомены к апологии прагматизма. В: Пирс Ч. *Начала прагматизма. Том 1*. Санкт-Петербург: Алетейя; 2000. с. 219–287.
25. Моррис ЧУ. Основания теории знаков. В: Степанов ЮС, составитель. *Семиотика. Антология*. Москва: Академический проект; 2001. с. 45–97.
26. Репина ЛП. Между фактом и символом: исторические события в макроструктуре национально-государственного нарратива. *Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки*. 2019;161(2–3):9–23.
27. Труфанова ЕО. Индивидуальная и коллективная память: точки пересечения. *Вопросы философии*. 2020;6:18–22.
28. Бродский АИ. Неизвестный солдат: философская апология войны и ее истоки. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология*. 2019;35(4):551–562.
29. Воробьева СВ. Семиотические основания когнитивной герменевтики. В: Демин ИВ, редактор. *История. Семиотика. Культура. Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фридриха Шлейермахера; 23–24 ноября 2018 г.; Москва, Россия*. Самара: Самарская гуманитарная академия; 2018. с. 289–296.
30. den Hoven PV. Cognitive semiotics in argumentation: a theoretical exploration. *Argumentation*. 2015;29(2):157–176.

31. Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле. В: Ницше Ф. *Полное собрание сочинений. Том 1. Часть 2. Несвоевременные размышления. Из наследия 1872–1873 гг.* Бакусев В, Берман Я, Герцык А, Завалишина Л, Небезина В, Эбаноидзе ИА, переводчики; Эбаноидзе ИА, редактор. Москва: Культурная революция; 2013. с. 433–448.
32. Инишев ИН. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества. *Логос*. 2012;1:184–211.
33. Бараш ДжЭ. Анализ понятий памяти и истории в контексте идеи времени: интерпретация концепции коллективной памяти в полемике с теорией Райнхарта Козеллека. Мачульская ОИ, переводчик. *Философские науки*. 2020; 63(9):18–34.
34. Линченко АА. Проблема исторического сознания в философии и теории истории Йорна Рюзена. *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*. 2013;13(4):22–26.
35. Тульчинский ГЛ. *Тело свободы: ответственность и воплощение смысла. Философско-семиотический анализ*. Санкт-Петербург: Алетея; 2019. 470 с.
36. Тейлор Ч. Почему демократия нуждается в патриотизме. *Логос*. 2006;2:130–131.
37. Нуссбаум М. Патриотизм и космополитизм. *Логос*. 2006;2:110–119.

References

1. Zvereva GI. Remembrance of the past in a digital environment: cognitive landmarks for historical research. *Electronic Scientific and Educational Journal «History»* [Internet]. 2021 [cited 2022 July 20];12:8. Available from: <https://history.jes.su/207987840016865-0-1>. Russian.
2. Fukuyama F. [The end of history?]. Zamoshkin YuA, translator. *Voprosy filosofii*. 1990; 3:134–155. Russian.
3. Halbwachs M. [Collective and historical memory]. *Neprikosnovennyi zapas*. 2005;2–3:8–27. Russian.
4. Halbwachs M. *Sotsial'nye ramki pamyati* [The social framework of memory]. Zenkin SN, translator. Moscow: Novoe izdatel'stvo; 2007. 348 p. Russian.
5. Nora P. [The problem of places of memory]. In: Nora P, Ozouf M, de Pyuimezh Zh, Vinok M; Khapaeva D, translator. *Frantsiya-pamyat'* [France-memory]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta; 1999. p. 17–50. Russian.
6. Rusen J. [Loosing the order of history]. Antoshchenko AV, translator. *Dialogue with time. Intellectual history review*. 2001;7:8–27. 392 p. Russian.
7. Assmann A. *Novoe nedovol'stvo memorial'noi kul'turoi* [New discontent with memorial culture]. Khlebnikov B, translator. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie; 2016. 232 p. Russian.
8. Lévinas E. [Foreshortening]. In: Levinas E. *Izbrannoe: Total'nost' i beskonechnoe* [Selected: Totality and Infinity]. Man'kovskaya IB, Vdovina IS, Dubin BV, Yampol'skaya LV, translators. Moscow: Universitetskaya kniga; 2000. p. 292–349. Russian.
9. Lévinas E. Diachronie et représentation: à la recherche du sens. *Revue de l'Université d'Ottawa*. 1985;55:85–98.
10. Galabru S. Paul Ricœur et Emmanuel Lévinas: vulnérabilité mémoire et narration: Peut-on raconter la vulnérabilité? *Études Ricœuriennes / Ricœur Studies*. 2019;10 (1):125–139.
11. Méchoulan É. *La culture de la mémoire*. Montréal: Presses de l'Université de Montréal; 2008. 261 p.
12. Demin IV. The semiotic approach to history: between presentism and antiquarism. *St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences*. 2015;4:48–54. Russian.
13. Tulcjinsky GL. Liminality: «deep» semiotics and self-determination. *Semiozis and Culture*. 2010;6:16–28. Russian.
14. Anikin DA, Bubnov AYu. Politics of memory in virtual space: the Internet as a mediator of memory. *Voprosy politologii*. 2020;10(1):19–28. Russian.
15. Vasil'ev IV, Kuznetsov AN. Historical memory as a factor of patriotic education of citizens. *The Authority*. 2021; 29(3):142–148. Russian.
16. Radchenko OA. The «Words and Things» School: on the decline of a scientific paradigm. *Vestnik of Moscow State Linguistic University*. 2013;5:150–158. Russian.
17. Siewerts van Reesema YaV. *Informatika sotsial'nogo otrazheniya. Informatsionnye i sotsial'nye osnovaniya obshchestvennogo razuma* [Informatics of social reflection. Informational and social foundations of public reason]. Moscow: Litres; 2022. 919 p. Russian.
18. Kress G. Social semiotic and the challenge of multimodality. *Political Science*. 2016;3: 77–100. Russian.
19. Ernst K. *Sufizm* [Sufism]. Gor'kavy A, translator. Moscow: FAIR-PRESS; 2002. 320 p. Russian.
20. Tulcjinsky GL. Historical consciousness and screen culture. *The art and sciences of television*. 2017;13(1):110–127. Russian.
21. Tulcjinsky GL. Screen and factor of speed: from narratives to performatives. *The art and sciences of television*. 2019;15(2):29–40. Russian.
22. Vorobyova SV. [Digital identity in the networked society: nomadic practices and border conditions]. In: Slemnev MA, Davlyatova EV, Rudkovskii EI, editors. *Fenomen granitsy v globaliziruyushchemsya mire* [The phenomenon of the border in a globalizing world]. Vitebsk: Vitebsk State University named after P. M. Masherov; 2020. p. 121–124. Russian.
23. Peirce C. [Icon, Symbol, Index]. In: *Nachala pragmatizma. Tom 2* [The beginnings of pragmatism. Volume 2]. Kiryushchenko VV, Kolopotin MV, translators. Saint Petersburg: Aleteiya; 2000. p. 76–97. Russian.
24. Peirce C. [Prolegomena to the apology of pragmatism]. In: *Nachala pragmatizma. Tom 1* [The beginnings of pragmatism. Volume 1]. Kiryushchenko VV, Kolopotin MV, translators. Saint Petersburg: Aleteiya; 2000. p. 219–287. Russian.
25. Morris CW. [Foundations of the Theory of Signs]. In: Stepanov YuS, compiler. *Semiotika. Antologiya* [Semiotics. Anthology]. Moscow: Akademicheskii proekt; 2001. c. 45–97. Russian.
26. Repina LP. Between the fact and symbol: Historical events in the macrostructure of a national-state narrative. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki*. 2019;161(2–3):9–23. Russian.
27. Trufanova EO. Individual and collective memory: intersection points. *Voprosy Filosofii*. 2020;6:18–22. Russian.

28. Brodsky AI. An unknown soldier: philosophical apology of war and its origins. *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. 2019;35(4):551–562 Russian.

29. Vorobyova SV. Semiotic bases of cognitive hermeneutics. In: *Istoriya. Semiotika. Kul'tura. Sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchenoi 250-letiyu Fridrikha Shleiermakhera; 23–24 noyabrya 2018 g.; Moskva, Rossiya* [History. Semiotics. Culture. Collection of materials of the International scientific conference dedicated to the 250th anniversary of Friedrich Schleiermacher; 2018 November 23–24; Moscow, Russia]. Samara: Samara Humanitarian Academy, 2018. p. 289–296 Russian.

30. den Hoven PV. Cognitive semiotics in argumentation: a theoretical exploration. *Argumentation*. 2015;29(2):157–176.

31. Nietzsche F. [On truth and lies in an extramoral sense]. In: Nietzsche F. *Polnoe sobranie sochinenii. Tom 1. Chast' 2. Nesvoevremennye razmyshleniya. Iz naslediya 1872–1873 gg.* [Complete Works. Volume 1. Part 2. Untimely thoughts. From the legacy of 1872–1873]. Bakusev V, Berman Ya, Gertsyk A, Zavalishina L, Nevezhina V, Ebanoidze IA, translators; Ebanoidze IA, editor. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya; 2013. p. 433–448. Russian.

32. Inishev IN. [The «Iconic Turn» in the Theories of Culture and Society]. *Logos*. 2012;1:184–211. Russian.

33. Barash JA. The temporal articulations of memory and of history: an interpretation of collective memory in debate with the work of Reinhart Koselleck. *Russian journal of philosophical sciences*. 2020;63(9):18–34. Russian.

34. Linchenko AA. The problem of historical consciousness in the Jörn Rüsen's philosophy and theory of history. *Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy*. 2013;13(4):22–26. Russian.

35. Tulcjinsky GL. *Telo svobody: otvetstvennost' i voploshchenie smysla. Filozofsko-semioticheskii analiz* [The body of freedom: responsibility and embodiment of meaning. Philosophical-semiotic analysis]. Saint Petersburg: Aleteiya; 2019. 470 p. Russian.

36. Taylor C. [Why democracy needs patriotism]. *Logos*. 2006;2:130–131. Russian.

37. Nussbaum M. [Patriotism and Cosmopolitanism]. *Logos*. 2006;2:110–119. Russian.

Статья поступила в редакцию 14.11.2022.
Received by editorial board 14.11.2022.